

...Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.
В них – дыханье свободы.

Сквозь непогоду – зов и знак.

Шестидесятые. Время радости и любви.
Молодость. Надо всеми – свет: дивись – и живи.
Вроде бы так. Но всё же – восталь бывало бурь.
Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.
В бездну порой глядели.

Ждали святых вершин.

Можно ли все метели мерить на свой аршин?

Можно ли все раденья

сызнава вспомнить вдруг?

Память – мои владенья. Что ж, обозначу круг.
Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.
Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.
Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.
Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.
Я не случайно с вами, други мои, сейчас.
Вставшие за словами, здесь вы.

Так в добрый час!

То-то нынче – достаточно снова мне
увидеть нас, молодых, четверых – себя са-
мого, глаза свои полузакрывшего, словно
внутренним верным зрением увидавшего
наперёд всё, что будет с нами потом, обни-
мающего за плечи друзей своих – Лёню Гу-
банова, глядящего вдаль обиженно и отча-
янно, – будь, мол, что будет, – и, с расте-
рянной полуулыбкой на лице Пьеро, или
нет, Арлекина, скорее, – Юру Кублановско-
го, а за нами, вместе с нами – и чуть в сто-
роне, со склонённою головой удалой, – Ар-
кашу Пахомова, – на старой, чудом, навер-
ное, сохранившейся фотографии, – чтобы
вспыхнуло – или в сознании, небывалым,
дивным сиянием, или в небе, ярким созвез-
дием, – незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?

Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то – зажгли огни.

Долей стали – былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да
петляющий в сумерках след всех, кто шёл –
при царе ли Горохе или позже – сквозь из-
морозь лет. Пожелтевшему старому снимку,
поседев, удивись и пойми – там плеяда бы-
лая в обнимку, всех моложе, одна меж

людьми. Свитера на локтях прохудились, но
четыре судьбы поднялись из оков, что все-
гда находились на земле, где мечты не сбы-
лись. Вот и прожито время ночное, что само
за себя говорит, – но извечное пламя свеч-
ное наши лица ещё озарит.

...Выхваченное лучом таинственного
прожектора – пограничного, может, воен-
ного, затаившегося до поры, до того мгно-
венья, когда будет знак ему подан снова, в
коктебельской, приморской глуши – и вне-
запно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-
то, включённого, заработавшего, да так, что
видны далеко вокруг все приметы вечернего
берега или сонного моря ночного, – или
нет, совсем не военного, но – магического,
такого, для которого всё доступно, всё воз-
можно, всё достижимо, – из крошечной
тьмы смоляной, из ушедшего времени
прежнего, из каких-то скрытых в простран-
стве арсеналов памяти, чтобы оживить бы-
лое, осмыслить, по возможности преобра-
зить, дать ему, невозвратному, имя, даже
так: призвать, возвратит вот сюда, в начало
неясное как-то быстро, совсем уж негадан-
но, разом, резко, внезапно пришедшего в
нашу жизнь столетия нового, приголубить,
согреть, обнять, зарыдать, помолчать, по-
нять?

Росчерк солнечного луча?

Или всё же – это свеча?

Со свечой, точно встарь, – при свече,
у свечи, – в киммерийском тумане, при ту-
мане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман –
с лепестком на плече, сгустком крови сухим,
лепестком поздней розы – в проём за кор-
доном, в лабиринт за провалом бездонным,
в зазеркалье с таким пустяком, как твоё от-
ражение там, где пространство уже не поме-
ха, где речей твоих долгое эхо сквозь про-
свет шелестит по листьям.

Ну-ка, встаньте передо мной, из бы-
лого шагнув сюда, в новый век, в коктебель-
ский, давний, от ненастья спасённый рай, в
дом, где жив я памятью, волей и работой,
друзья мои, появитесь, один за другим, че-

редою, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам странным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, други, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.

Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?

Лучший из атаманов.

Истовый. Грозовой.

В юных стихах – живой.

Конечно, Лёня Губанов.

Глаза – пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка – неровно подстрижена. Ворот рубахи – растёгнут. Рот скомороха – большой, вырезанный упрямо, ещё немного – и станет греческой маской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб – в лёгком поту. На шее – крестик. Руки взлетают вверх – и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысок, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать. Или вдруг засмеётся. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь бы речь клокотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос – логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки – из яви? Да. Над бесчасьем – в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он – с дороги. По России привычно ездил. А теперь он – в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там – Архангельск и Соловки. А на западе – граница. Он уедет туда – потом. А сейчас – он живёт, как птица перелётная. Нынче – здесь, завтра – там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает – из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто знает! Может – к новой подруге. Может – в храм. А может быть – в те края, до которых добраться сложно. В завихренья снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним – навсегда ушло. Как и сам он – из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться – уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда – в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же знача, достижимые там и тут, чередою сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведущую в даль, где есть из былого благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновенье – всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт – за троих. Смешлив. И – застенчив. И весь – порыв. Но – куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет – в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Интересов – широкий круг. Увлечений – хоть отбавляй. И энергия – через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония – словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь – сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть острастка: туда – нельзя. Есть смекалка: туда – скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обре-

тённая седина – словно снег. Бородат. Встаёт – в рост – над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он – в привычных своих трудах. Подрабатывать. И – выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И – с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар – мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны – посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его – не открыть. Спит. Стихи его – будут жить.

У кого это, узколище, чуб на лоб и затылок стриженный, вид геройский и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит – в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит – о своём. Из этого – возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то – порой равняется. И кому-то – отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там – поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою – он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его знобило там, где к тайнствам мог быть вход. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным – иногда. И опять – в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжущей, чьи секреты – в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда – идущим. Или – едущим. Чуда ждущим. Создал исподволь – всё, что смог. Стал – седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И – появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы – на виду. Исчезал – незаметно. Разом. Повинуясь судьбы приказам. Без пристрастия к прощальным фразам. И – без писем, хоть раз в году. Фантастическое умение – продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пенья, по старинке продлится рвенья, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настезь рамы. Дверь хлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И – налегке.

Жар таманского лета. Зной коктейбельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим неожиданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И – соратник. Достойный. Верный. Он спокойно смотрит вокруг. Взгляд – всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, – и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы, в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё – всерьёз. Всё узнаем – и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб – жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо – дружить! Дружба – редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может – звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, – да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска – и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей – навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После нищего детства – надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И – нашем. О заветном. И – о былом. Вдохновенный. И – оживлённый. Взбудораженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений – не счастье. Лицо – покруглее луны. Бородку отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду.

Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических – и реальных! В нём энергия жизни была, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самым собой. А теперь – его нет на свете. Может, есть? Может, всё же – есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови – то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь – в книгах моих живи. Постояв средь вагонной тряски, приезжай незаметно в рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль свою – до конца играй. Будет весело – хоть и больно.

Подумать ведь только – сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов – или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова – смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина – белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза – удивительны. И трактат знаменитый – о небытии – озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость нежданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец – иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть – как все? Не таким, как все. Быть – провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горожанином быть – и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по нраву душе всегда. Чередою прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот – весть от него. Речь – жива. Он – есть.

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМОГУ. Не время. Да и не место. Сами они придут в прозу мою – потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

Над минувшим – скопление гроз.
Надо мною – Чумацкий Воз.
В небесах. Семь высоких звёзд.
Преодо мною – воздушный мост.

Что ж, пойду. Ведь найду я – суть.
И эпохи своей. И жизни.
И событий – в своей отчизне.
Над грядущим – вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?
Нет мне от времени СМОГа покоя.
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова – смог.
Значит, придётся. Свидетелем – Бог.

Что сказать, если столько сказано в предыдущих книгах моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в работе?

Что мне нынче вам говорить?
Что мне делать сейчас? Как быть?
Нет ведь прошлого и в помине.
Или – есть? Не ушло никуда?
Вижу: в небе горит звезда.

Здесь, пожалуй, нужен Феллини.
Выручавший меня с давних пор.
Появляется он, режиссёр.
Не даёт никаких советов.
Говорит:

– Галерея портретов.
Да, портретов. Твоих друзей.
В этой книге – создай музей.
Свой. Особый. Средствами речи.
Ты сумеешь. Действуй, брат!
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда – запылали свечи.
Засияли – здесь и везде.
И Феллини – ушёл. Сквозь время.
Сквозь горенье в моей поэме.
Улетел – к высокой звезде.

Спохватившись, ему вослед я сказал:
«Но ведь в этой книге – есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?»

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты – влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге – портреты. Ну а позже – тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась – вся в сиянье – Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своею трубой серебряной. Джельсомина из фильма «Дорога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам – и раздался призыв-

ный звук. За которым пришло неясное, нарастающее звучание – отовсюду, с земли и с небес. Посулившее вдосталь чудес.

И растаяли в небе супруги.

Звон раздался по всей округе.
И рокочущий, мерный гул.
Вот и в зеркале явь отразилась.
И в него я и сам заглянул.
Сердце сразу сильнее забилося.
Волшебство? Желанный ответ.
На вопросы. Голос и свет.

И тогда – различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою – и с нею было мне так светло на душе – и сызнова стали явью былые дни.

Закружились огней рои.
Темнота исчезла ночная.
Новый век. И – юдоль земная.
Где вы, где вы, друзья мои?
Те, кого считал я друзьями.
Те, кто дружбе верны поднесь.
Приходите. Все вместе. Сами.
И останьтесь надолго – здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу – из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по наитью, строится лад звучащий – и здесь освоится, – ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива – и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестьем такого зова, что приметы земного крова станут звёздам родней родного. Величанный Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутул немного. Стоек. Дар у него – от Бога. Пил – как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным – был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом – на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно

луч свободы врывался вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. Величаем его теперь. Многовато у нас потерь. Сплошь – зияния. Рвётся нить. Больше некому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы – смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья – шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут сызнова отыскать. Будет время волной плескаться в берега, где стоим порой, где редееет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чертоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом – и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням – длиться. Легендам – жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьере – махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом – в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком первоклассным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И – соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он – действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки – вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал – и опять работал. Постарел. Как-то ссохся, сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из приятелей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и вынослив – но сказалось всё напряжение сумасшедших минувших лет на здоровье

его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила – так страдала. И однажды, восьмого марта, через год после Петиной смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать – вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла – восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомнил ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя – жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме – незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь – до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда – был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве – не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был – в самиздате. И этого было предостаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непостыгие, золотые, была у нас обязательной и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом – не пил. Незаметно – вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было. Но книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли бо-

лезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник – ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, – в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим – навек – дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замызганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт – в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бессчётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт напрямиком в блаженный, впереди обещанный рай. Или – в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья – цел. Несмотря на утраты – полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём – он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казацкой своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то жене приснился. Та спросила его: «Ну как ты?» И ответил он ей: «Борюсь!» В этом – весь он. Он – здесь. Он – есть. В том, что создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют – благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был – от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в

Москве. В Коктебеле бывал дважды – в давних шестидесятых и в начале псевдосвободных какбывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был – мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочеем был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтом был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда – среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой – лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал – с голоса. Переехал из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяньям никогда он не изменял. Другом был – небывало надёжным. Смело можно сказать – вернейшим. Положиться мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался – изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни – легендой. Скромность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И – вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил – неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он – в былую эпоху. Состоялся в ней, как поэт. А в начале столетья нового – умер он. Тяжела утрата – для меня, для всех земляков. Но стихи его – вместе с нами. Жизнь встаёт – за его словами. Речь – жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской – тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте – в Днепропетровске. А в начале шестидесятых он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда подружились уже тогда. Позже он в Подмосковьё, в Люберцы переехал. Мотался часто по различным командировкам. В основном, по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи.

Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была – порода казацкая. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне – попроситься с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи – остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казацком, – Вольном. Так вернулся он, поскитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его, и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы – в даль зовущую. Все прорывы – к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И – Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым – на поэзию, на искусство. Понимал несравнимо лучше многих прочих людей, что к чему. Видел – суть. Прозревал – грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолюбив. Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движениях. В очках. За которыми – полные жаркого, золотого огня, – глаза. В них – душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником.

Всё прошёл – и гоненья, и беды. Надрываюсь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но – восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал – для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он ушёл, на отдыхе, в море, в одиночку. И – не вернулся. Через сколько-то дней нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или – в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека – оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно их них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд – с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был – настоящим. Но пришлось заниматься – наукой. Написал он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё – по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Много знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом – он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех – неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше

книг, чем в России. Другам – не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот – вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю – молодого. Умного. Доброго. И талантливое. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них – живые слова и фразы. И за явью в них – волшебство. Всё – его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает – Путь. Дружбы прежние – всё дороже. Может быть, нам удастся всё же повидаться – когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой – почти половину столетия. Высокий. Когда-то был – худым. Теперь – погрузнел слегка. Поседел, конечно. Борода – по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых – начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили – пешком. Он любил чудачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен. Знал цену дружбе. И –цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом – жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает – и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из диковин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так – интереснее жить. Дети – выросли. Внуки – есть. Да и тексты – изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь – беседуем. Оба – седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба – в разные стороны, разъезжаемся – по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались – всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдосталь наговорились. И сейчас говорим порой. Хотя и видимся слишком уж редко. Но зато – конечно же, с толком. Говорим – словно не было вовсе промежутков в общении нашем. Нить духовную – невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, – ничему. Время – с нами. И память – с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато – прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И дружбам верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Сопратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них – стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад – неизменны и драгоценны. Издают их, пусть – постепенно. И – читают. Они – живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смирненно ждут – и вниманья, и пониманья. Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, – может, пламя свечи полночной, может, отсвет зари бессрочной, может, звёзд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство – шире. Время – дорого. Речь – жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Словно кость – поперёк ли горла, поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный, скорее. С юмором характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был – таким. Какой он сейчас – я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в мо-

лодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием «Шея», на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГУ. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал – известный «Ковчег». А потом – пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселлером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не видались мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, – чем он жив, как живёт, и так далее. Существует – и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хранящей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас взрастившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом – геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмосковье. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные – вдосталь было их – объединения. И везде – читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии, несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало – и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, – лишь посверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию – страстно любил. И особенно – символистов. Да и сам был – таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый – есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей.

Бурный, грузный, очкастый, с берете. И – с тетрадью стихов под мышкой. Но – подвижный. Ходил по окрестностям коктебельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем – его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.

Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, слегка под хмельком. А иногда – и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях – демиург. В застольях – руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился – легко. Лишнее – отметал, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так – спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал меру. То есть – не перерабатывал. Оставлял себе в досталь времени – для прогулок, пиров, ресторанов и поездок – благо была у него такая возможность. Жил – размашисто, широко. Словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополучил. Был талантлив. Ревнив к соратникам – иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку – стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книжки выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти – пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом – о нём. И осталось в памяти – дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит

привычно: «Понятно!» – и улыбка его приятно встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недозволен, а теперь – давно вседозволен? Всё равно ему. Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно – невозмутимый. Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным – в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом, для телевидения. Жил – без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложилась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он относился ко мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спокойные разговоры – то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его сочинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературоведы нынешние. Только в памяти – он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой «аэродромом». Он – из Харькова. Прибыл в Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сразу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду – скромный. Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему богема. Все решали его проблемы. Он об этом потом – забыл. Голос вкрадчивый стал нахальной. О судьбе своей эпохальной заявлял он ещё давно. Самомнение – нарастало снежным комом. И маска стала – главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочинял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему

изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по-новой начал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций – куда деваться? И в политику он полез. И – прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изуверскую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю страну. Не агнец невинный – натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу – победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё – в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём – говорили. А потом – что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян – на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить – в Москву. Потому что была столица для людей богемных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недосягаемого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним – жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве – прижился. Был душою любой компании. Зарабатывал в «Литературке» и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг – кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги – тоже уехали. Оказались они – в Америке. Поселились они – в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали – Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался – самим собою. Непрерывно работал. Был – в эмигрантской среде – известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подалее, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах – беседовал по

телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он – уже угасал. И однажды – покончил с собою. Горевали о Бахе – все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе – все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось – великое множество первоклассных его работ. И осталась – Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась – память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он – Епишин. Лён – псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть – так. Хочет – будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна – радушным, всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоенный, в рюмки крохотные наливающим. Он – хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей – болят. Похмелиться гости велят принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливаётся. Всем гостям напоказ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпирии. Потом – на лёд. Пируэт. А потом – за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём – смысл собраний. «Когда кирнём?» – каждый думает. Все – тихи. Лён – читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи – гожд. Он придумал «Бронзовый век». Был активен сей человек. И теперь он – везде. Куда ни придёшь – там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор – не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся – на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде – вода. Исчезает фигурный след. За болотом – дороги нет.

Кто это там – из прошлого? Или, может, – из настоящего? Бородатый. Довольно высокий. С виду – вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно – играет в теннис. Голос – низкий. Глаза – горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он – учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компаней-

ский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти – Дон-Жуан. И – доктор наук. Он, конечно же, книголюб. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе – и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную – наукой. Давним друзьям – верен доньине. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь – есть. И – живут. Из бывшего века – речь хорошего человека. Из бесчасья – потомкам – весть.

Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийскою бородою – в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете «За доблестный труд». И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести – не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздавал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там – возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял – пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимые сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он – выстоял. Выдержал – всё. И решил остаться – в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на «Свободе». Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облучился он в армии, на секретных объектах, в молодости. И сказалося это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима – лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда – запивает,

бывает. А потом – прекращает пить. Он – живучий. С корнями крымскими. С коктейбельской хорошей закваской. И с московской. Он – свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди – свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури – вроде, давно отгремели. Сердце щедрое – бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также – известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но – достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для настроя, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был – Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал – Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды – и стал. Эрлем быть – непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который – сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос – к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда – велик и мил. В нём прижиться – хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолевал перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье – крик. По созвездию – ясно, Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впредь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В быть, скорее.

Такая роль. Есть отрада. И есть – игра. Что же будет – потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишь, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать – нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над невьюкой стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это – в прошлом. А теперь он – самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был – худым, даже тонким. Лёгким на подъём. Повидал немало разных мест в отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал – автостопом. Временами – ездил на поезде. Жил он раньше – в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный «бродянский хлеб». Обладал чутьём фантастическим – на достойное, настоящее, – и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом – всё роздал. Имуущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал – всё. От всего стал – свободным. Опростился – до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал – целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд – словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке – хлеб и капуста. «Кушай!» – говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он – вдруг ушёл. И – надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом – он исчез куда-то. И не просто надолго – на годы. Где он был? Появился – сам. Оказалось, он путешество-

вал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой небывалой. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Арарат. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное – для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду – волшебник. Борода – ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того – редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время – с нами. Творчество – с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом – друг он. И ныне – друг он. И останется им – всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он – левой рукой. А стихи писал – правой рукой. То есть, с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сноровкою, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб – на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал – сам и сказал. Глаз прищурен. Язык остёр. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато – берет или шляпа – знай, мол, наших! – на голове. Гонор был всегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать – ночью и днём. Рисовал. А потом – гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетою был знаком, со страхом, – с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был – хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье – сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить – сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь – одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям – назло. Почему-то ему

везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде, жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе – да сплыл. Берет мокнет в глуби минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он – Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже – состоялся. Был всегда он – самим собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом – отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога – для трудов его постоянных. Он работал – и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато – превосходным мастером. Годы шли. Мы не виделись долго. А потом – по-видались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они – многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило – о прошлом. О своём. И – нашем. Хорошо. В настоящем он жив – работой. И храним он – своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал – подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал – в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он – с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы – кого куда. И не знал я лет сорок пять – где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки – словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках – все мы, вдохновенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый – в юности. Ныне – солидный, степенный, спокойный, но – со взрывчатостью, возникающей не-

ожиданно. В СМОГе был – вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение – упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского – прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов – «Слеза Овидия». Угощал им друзей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой «Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Москве – появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава Богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда – стихи возникают. На него самого похоже. Внешне – вроде простые, сдержанные. Но внутри – негасимый свет. Испытаний – вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкелевич. Автор текста «Метапсихоз». Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлённый, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу – не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл он всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже – долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его – за границей жил. Гнал ему «Мерседес» оттуда. И разбился на гололёде. Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти – да весёлый голос. Из прошлого – глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собиратель книг раритет-

ных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать – театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою – печальный. Но – искренний. И отзывчивый. Поэзию – понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал – надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась – тайна. И – память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдалеке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из бывшего, да цветков шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит размашисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших – всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых – текстов, им же тогда, на машинке, вечерами перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнаружит их, покажет современным людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновенья, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, листвою шелестящими на ветру, то в его квартире, небольшой, но такой уютной, где врывался в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестьем воли, ну а воля – началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, – обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас-то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как

ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба – жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович.словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умён, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создает институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращаются. Помнит – всё. Всех поддерживает, опекает. Он – творец. И жизнь его – творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творян. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда – в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он – чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним – Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая, верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи – незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы – святы, годы наши – давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время – за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы – путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны – той, которой на карте нынче нет, которая всё же – с нами, в нашей памяти, в наших

снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём – когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки – жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон – кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь – отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он – волевой. Несмотря ни на что – живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над градом – его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Слово вестник добра. Для всех, с кем знаком он – и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и ввысь. Встаёт свет над ним, чтоб сияньем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдолю. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче – дружба. Верней – слова. Зеленой и шумней – листва над его головой седой. И душою он – молодой. Мудрый. Искренний. Книгочел. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним – хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Слово днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже – рядом, и жизнь – светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И – Мери, его жена. Слово в непогодь, вдруг, – весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь – и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, – сирень. За порогом – небес простор. Вдосталь – музыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен – с высоких звёзд. Над пространством – воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим – комет рои, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия дая. Над грядущим – горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счесть различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он – инженером. Слово, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим – в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его – те-

сен был. Тонкий, стройный, – струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или – осенью. Или – зимой. Или – в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знаток поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он – многое. Жил – свободно, независимо. От всего, что мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто – жить. Но – по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, – в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обретенной вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятным. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни – в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире – таким, как сложилось, как вышло. То есть, принимать всё – как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но – звучащий всемогущей музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, – с ним.

Вот он машет рукой – издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но в пространстве – сквозь время – движется. Неизменно – сюда, ко мне. Из былого – навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернородый, с сединой сизовой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом – ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен: гости пришли. Навестили его – в мастерской. А работа – пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз – из немислимых лет – на нас. И – на каждого. И – на всех. И – улыбка. И – взлёты рук. Вверх. И в стороны. И – навстречу. Всем он рад. Привечает – всех. Говорит – о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются – в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого,

стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в транс явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из былого, из круга СМОГа. Поредели друзей ряды. В небе – свет путевой звезды. Тишь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними – жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, – и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства – для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот – от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные години, – кто пил, как мы? – попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино! Кто выжил – цел, – но сколько вас в земле, друзья мои, – и с кем ни говорю я, о вас – в толпе, в хандре, навеселе, в беспамятстве оставленных – горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немотствующий выстрадав мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой – впотьмах полынь в руках переминаю, седеющей качая головой, чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту – то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло – говорю об этом. Благо время – в родстве со светом. И поэтому – в добрый час!

Вот и вышло – ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим – и, тревожась, я сам не знаю, где мы – в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шорохи и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты вы-

ловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомицы выбор гордый. Хмель повыветрит на рассвете век – железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся – не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампирный, – пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключения, ключик выпал, – теперь не к спеху вспоминать, – но влечёт мученье – тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорюкие сны, что служить возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя бесприютного, в искушение пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем – радость и весть, и петушьего крика победного – только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взъерошенным диспутом из гнездовой сплошных, с перекличкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговую порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое – пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожидаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокруг, приподняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и высь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то артачится – не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да былъём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловною – при свече и звезде.